

Елена Константинова

«Лиры струна поострее осоки...»*

В альманахе 81 мы опубликовали беседу известного интервьюера Елены Константиновой с Семеном Липкиным. Как бы продолжая этот разговор, предлагаем вниманию читателей беседу с Инной Лиснянской, состоявшуюся 24 сентября 1998 года в Москве.

– Инна Львовна, в 1993 году вы написали:

Живу во время дикое,
Забывшее азы.
Но вот живу, и тикают
Тарковского часы.

Что за история с этими часами?

– Прежде я хотела бы пояснить две предыдущие строки. «Время дикое» – это то состояние, в котором находится наша страна. Страна, никогда не знавшая середины. Либо мы самые счастливые и сильные, как это говорили семьдесят лет. Либо – самые бедные и несчастные, как это говорят сейчас. Дикость жизни состоит в том, что у нас никогда не было, и нет золотой середины.

– То есть?

– Мне кажется, что золотая середина предполагает средний класс, который когда-то, едва создавшись, был сметен революцией. Сегодня происходит то же самое. Едва этот класс начал возрождаться и укрепляться, как страна оказалась в кризисе. Ибо мы страна крайностей.

* Строка из стихотворения «Март, и мимоза, и запах бензина...» Инны Лиснянской.

Что для меня есть «азы»? Это заповеди Книги Книг – Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. Увы, забытые.

Но потом я себя утешаю: вот, несмотря на внешний фон, исправно и спокойно отсчитывают на моем запястье время часы Тарковского. А коли так, значит, поэзия существует, культура жива, и по-прежнему незыблемы такие понятия, как честь, совесть, благородство.

Эти наручные часы Арсений Александрович подарил мне в 1975 году на день рождения. Наши дни рождения рядом: у меня – 24-го, а у него – 25 июня. Мы поехали в какой-то загородный магазинчик, и он купил двое часов: мне и точно такие же себе. Свои на другой же день Арсений Александрович потерял в Переделкине, играя в шахматы с одним писателем из Армении: лето, они сидели прямо на траве. Я в беседке переводила с испанского чилийскую поэтессу Габриэлу Мистраль. Вдруг страшный крик: «Инна, часы!». Мы обшарили всю траву. Часы словно провалились.

Вообще, наши поездки по окрестным магазинчикам, которые так любил Тарковский и называл «прогулками», были довольно частыми. Тогда в этих расположенных вдали от центра магазинчиках бывало что-нибудь импортное. Но мы совершали эти поездки – за рулем была жена Тарковского – не столько ради покупки какой-то вещи, сколько из интереса. Как говорил Арсений Александрович: «Я хочу уверить себя в том, что торговля еще существует». И всегда вспоминал своего любимого Владислава Ходасевича: «Ну какую же глупость допустил Ходасевич, утверждая, что у большевиков одна свобода – торговать! Ведь никакой свободной торговли нет!». И вот приблизительно раз в две недели его тянуло выехать. У меня в то время не было крыши над головой: то снимала квартиру, то жила на Беговой у Марии Сергеевны Петровых или в Доме творчества в Переделкине. И Арсений Александрович с удовольствием высматривал мне всякую полезную утварь: сковородки, кастрюльки, чашки.

– Своими впечатлениями о Тарковском делились многие и много. Что прежде всего вспоминается вам?

– В Переделкине наши комнаты находились по соседству. Мы много говорили с Арсением Александровичем и много смеялись. Ни с кем в жизни я столько не смеялась, как с Тарковским.

– Что же вызывало смех?

– Мы смеялись по разным поводам. Даже печальным. Тарковский, смеясь, рассказывал о самом горестном событии в своей жизни: декабрь 1943-го, засмотрелся на звезды, был тяжело ранен и остался без ноги...

Май, 1975 год. По очереди с Тарковским читаем вслух «Чевенгур» Андрея Платонова. Эту книгу, изданную тогда в «тамиздате», передала мне дочь – прозаик Елена Макарова. Но продвигались мы медленно – захлебывались смехом почти над каждой фразой. На самом деле «Чевенгур» – вещь трагическая, но написана так, что не смеяться, особенно если читаешь друг другу вслух, просто невозможно. Чего только стоит запутавшийся в вожжах военного коммунизма простосердечный Степан Копенкин, грозивший «буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты» – «прекрасной девушки Розы Люксембург», и хотевший двинуть революцию дальше!..

Однако оказалось, что своим смехом мы мешали другим. Особенно Эдуарду Асадову. Он слепой, и его слух очень нервный. Как-то утром Арсений Александрович получил от него записку такого содержания: «В одиннадцать часов все писатели, которые здесь так много работают, уже находятся в объятиях Морфея. А Вы с Лиснянской разговариваете до часу. Но что самое плохое – смеетесь! Нельзя ли режим разговора, а в особенности смех перенести на более удобоваримое время для писателей?». Эту записку Арсений Александрович принес в столовую. Перечитывали и снова давились от смеха. Но с тех пор Асадова больше не огорчали. Нам действительно было его жалко. Выходили беседовать в холл.

– Какую черту характера Тарковского вы бы отметили особо?

– Многие из тех, кто близко знал Арсения Александровича, говорят о его детском нраве. Но чаще всего в розовом свете. А Тарковский был ребенок с присущим детям крайним эгоцентризмом, хитростью. И, как у детей, в нем не было ханжества.

Детскость Тарковского навсегда сохранилась и в отношениях с людьми. Например, когда он с кем-нибудь ссорился, то начинал страшно ругать того, с кем поссорился. А когда мирился с ним – начинал так же горячо хвалить, защищать. Когда мы с Тарковским

познакомились, он был в ссоре с Марией Петровых и Семеном Липкиным, а они дружили с самой юности. Я взялась мирить. «Арсений Александрович, вам непременно надо помириться и с Семеном Израилевичем, и с Марией Сергеевной!» – «Ну хорошо, с Семой я помирюсь. С ним я должен помириться – иначе как мы с вами будем играть в шахматы? А с Марусей – не буду». В итоге примирение состоялось и с Марией Сергеевной, и их дружба горячо продолжалась.

– Вероятно, вы оказывались свидетелем и каких-то трогательных проявлений его ребячества?

– Детскость Тарковского сказывалась и в той же игре. За шахматной доской он вел свою партию так, как будто перед ним во все не было никакого противника. При проигрыше поднимал шум. Если случалось быстро проиграть, вскакивал, кричал, нервно прыгал на одной ноге, опершись на костыль, и разворачивал в разные стороны свою широкую грудь...

Вспомнился и такой эпизод. В тот день мне надо было поехать из Переделкина в Москву – встретиться с Семеном Израилевичем, взять рукопись романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, которая хранилась на квартире его брата, математика Михаила Израилевича, и передать Владимиру Войновичу, чтобы с его помощью она попала за границу. Хотя мы были очень дружны с Тарковским, я посвящала его далеко не во все свои дела: ответственность за возможные последствия должна была нести я сама. Предупредила Арсения Александровича о том, что у меня есть свободное время до полудня. Сидим с ним на скамеечке под березой. Как обычно, с «Чевенгуром». Внезапно громким шепотом Тарковский заставил меня прервать чтение: «Тише! Лось!» Я подняла голову. Действительно, в шагах пятнадцати от нас на травке стоял светло-желтый, видимо, совсем молодой лось и смотрел в нашу сторону. Длилось это буквально мгновение. Лось отвернулся от нас, легко перемахнул через забор на улицу и ускакал... Появление этого лесного красавца произвело колоссальное впечатление на Тарковского. Он ни за что не соглашался отпускать меня в Москву. Был не на шутку раздосадован: «Инна, мне же никто не поверит, что мы видели лося!» Вернувшись часа через четыре, уже в начале коридора я услышала возбужденный, чуть ли не плачущий голос Арсения Александровича: «Да видели, видели

мы лося! Был лось!» Сообразив, что к чему, беспардонно, без стука распахнула дверь его комнаты: «Арсений Александрович, вы уже успели рассказать, как мы сегодня видели лося?» Тарковский был счастлив. Но убеждать домотворческую компанию в том, что лось не померещился, теперь пришлось нам вдвоем.

– Как относился Тарковский к поэтам-современникам?

– Из текущей поэзии он мало о ком говорил хорошо. Был добр скорее к тем, у кого не складывалась литературная судьба, кого не печатали. Ведь сколько десятилетий не публиковали его оригинальных стихов! Ходил в переводчиках. Первая книжка стихотворений «Перед снегом» в 1946 году после постановления ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград» была снята с производства и вышла тиражом шесть тысяч экземпляров только в 1962 году, когда поэту исполнилось уже пятьдесят пять лет.

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова,

– это строки Тарковского из стихотворения «Переводчик». Однако переводил он – блистательно!

Всегда высоко ценил творчество Анны Ахматовой. Ни один разговор о поэзии не обходился без упоминания ее имени.

Очень деликатно рассказывал мне о Марине Цветаевой. Тогда я не знала, что их связывали не только дружеские чувства, а Арсений Александрович, по-видимому, был уверен в обратном. Сокрушался: «Прозевал я Марину, прозевал. И я виноват. Не понял ее трагического характера. Трудно было с ней. Ну, полсердца отдал бы ей. А ей подавай все сердце, и печенку, и селезенку! Она требовала всего человека, без остатка...»

– На ваш взгляд, почему так долго не печатали Тарковского? Считали антисоветчиком?

– Ничего антисоветского в его стихах не было. А что было? Изумительный русский язык, лирически совершенная поэтическая

речь, что уже само по себе в стране, где слово было совершенно обезличено, не годилось для литературных идеологов. Как-то Арсений Александрович признался мне в том, что пытался потрафить советской власти. Пожалуй, это был единственный компромисс, потом он горько о нем сожалел. «Ахматова решилась восхвалить в стихах вождя ради спасения репрессированного сына. А я написал стихи о Сталине для того, чтобы меня печатали. Отдал их в «Знамя», но их отвергли». Потом мы рассуждали с Тарковским, почему журнал отказался даже от таких его стихов. Их забраковали исключительно из-за изысканной, чуждой народу стилистики.

– Ваше мнение о Тарковском как поэте вполне однозначно:

Он жил, блаженно меченый
Серебряной струной.

Ему же немногим раньше посвятили стихотворение «Крапивница»:

Привыкшие к зиме, мы на весне помешаны,
И желтым солнцем март уже дымит,
В снегу обозначаются проплешины,
И бабочка-крапивница летит <...>

Откуда же она, отважная безумица,
Иль в крылышках ее поэта душа? –
И к кладбищу ведет меня кривая улица –
Меж вечностью и мной непрочная межа.

Не бабочка ли связь мгновенья и бессмертия?

– Всегда любила и люблю его стихи. С годами все больше и больше убеждаюсь в том, какой он сильный, замечательный поэт. Он из тех, кто растет со временем, неизменно привлекая в себе новых и новых читателей. Так происходило и с Осипом Мандельштамом. Если Ахматова смолodu познала славу – как только она появилась, ее сразу полюбил читатель, то у поэзии Мандельштама при

его жизни было не так уж много поклонников. Ныне же он один из любимейших русских поэтов в России и остальном мире.

Наша дружба с Тарковским была короткой, неглубокой, но – отдельной.

...Каждый год 25 июня я приношу на его могилу, что совсем рядом с могилами Пастернака и Чуковского, половину цветов, подаренных мне накануне. И говорю одни и те же слова: «Здравствуйте, дорогой Арсений Александрович! Мои «часы» барахлят, но я все живу и живу, а ваши – привычным жестом переворачиваю руку и прижимаю золотистые часы к земле – идут исправно. Слышите, как они тихонечко тикают?..»

– Отойдем немного от основной темы. У вас всегда эффектные украшения, и прежде всего перстни...

– Никакой загадки в том нет. Единственное, что у меня было красивым, прошу прощения за нескромность, – руки. Так мне все говорили. В том числе Тарковский. Но мои руки были неумехами. А вот у Тарковского!.. Когда из моих перстней и серег выпадали камни, Арсений Александрович их вправлял. Он вообще руками умел делать все. Я звала Тарковского народным умельцем. И это его чрезвычайно веселило, радовало, словно не перо, а именно руки были его главным призванием.

Сама себе никаких драгоценностей не покупала. Мне их дарили. Довольно много дагестанских украшений мне подарила аварская поэтесса Фазу Алиева, которую я когда-то переводила. Потом, особенно в те времена, когда мы с Семеном Израилевичем были вне Союза писателей, все свои перстни, серьги, бусы я раздарила.

Дело в том, что я очень люблю делать подарки. Обычно тратила на них половину своих гонораров. Тогда же, когда денег у меня не было, выручала серебряная шкатулка с украшениями. Когда она опустела – подарила и ее.

За серебро не кори, Адам!
Золота обручального
Я с безымянного не отдам, –
Оно для житья молчального.

С этим колечком и схорони.
А те, что люблю раздаривать, –
Перстни серебряные, они
Останутся разговаривать.

– Неужели, кроме обручального кольца, вам ничего не удалось сберечь?

– Только три перстня. С одним из них – с большим малахитом – связана такая история. В 1976 году я отдыхала в Коктебеле. Отдых близился к концу, все деньги, какие были, потратила. И вот уже перед самым отъездом домой мои знакомые зазвали меня в ювелирную лавку. Предложение было весьма заманчивым, и я согласилась. Ювелир-продавец тоже не скрыл восхищения моими руками. И достал с витрины перстень с огромным круглым малахитом. «Я не могу его купить – порастратилась». – «Хотя бы пять рублей у вас есть? У меня правило: ничего не могу подарить, только продать». Действительно, у меня осталось десять рублей, которые я отложила на дорогу. Но прежде чем отдать мне кольцо, в сущности, за бесценок, художник, словно угадав мой характер, взял слово, что я его никому не передаю. А я, если даю честное слово, ему верна: как в мелочах, так и в крупных делах. Допустим, у нас, участников литературного альманаха «Метрополь», была договоренность, согласно которой, если начнутся репрессии в отношении хотя бы одного, то все остальные воспримут это так, как будто и их исключили. И когда из Союза писателей исключили Евгения Попова и Виктора Ерофеева, в знак протеста вышли я, Липкин и Василий Аксенов. Отступать от слова невозможно. Так же и здесь: обещала сохранить кольцо – сохранила.

– Малахит, напоминающий своим цветом сочную зелень трав, называют не только символом неувядающей красоты и гармонии природы, но и талисманом тех, кто имеет дело с пером...

– Вот как? Не знала. Магические и лечебные свойства самоцветов мне абсолютно не известны, никаких рекомендаций по подбору украшений не придерживалась и вообще не придаю этому никакого значения.



Семен Липкин и Инна Лиснянская

Впрочем, в юности камни меня действительно интересовали. Но вовсе не самоцветы. А булыжники. Правда, не совсем обычные. Это были камни-лица, камни-силуэты, камни-фигурки, выточенные бакинскими ветрами. Целая коллекция!..

– В поэме «Круг», посвященной Липкину, среди своих вещей вы упоминаете «перстень пятигранный». Чем он знаменит?

– Какой-то перстень у меня в ту пору был. А вот то, что он «пятигранный», я скорее придумала.

Иногда о себе слышу ли, читаю, что Лиснянская, дескать, пишет все как есть о себе, что мою жизнь можно вычитать из стихов. Но это не верно! В стихах довольно много вымысла, судеб, взятых в себя. Об этом, собственно, стихи в моей новой книге «Ветер покоя», которая не так давно вышла в Санкт-Петербурге в «Пушкинском доме»:

Пишу стишки простецкие
Под маской дневника, –

В них мира мысли детские
И старости тоска.
Так жизнь и смерть в таинственном
Присутствии Творца
Рекут в числе единственном
От первого лица.

Возможно, в заблуждение вводит то, что доверительно обо всем пишу почти всегда от своего имени. Просто это моя манера письма. И вообще, в лирике легче спрятаться, чем в эпике. Граница между первой и второй реальностью здесь довольно размыта.

К тому же объяснять свои стихи невероятно трудно.

Что за стихи без всяких тайн,
Без спрятанных причин?

– От каких украшений вы отказываетесь наотрез?

– От золотых, за исключением обручального кольца. Когда мне что-то попадало из золота – тут же передаривала. А еще – безразлична к бриллиантам. Не люблю очень дорогое. Я всегда трудно жила. Как правило, имела платье с плеча какой-нибудь подруги. И почему-то темное. Оно было одно. И одна пара туфель. Когда у меня появилась вторая – мне было уже хорошо за тридцать. Плохо жить было прилично. В стихах «Первая поминальная» о Булате Окуджаве у меня есть такие строки:

Мы по лужам шлепали
За твоей гитарою,

Из обувки похода
Выливали дождики.
Где же наши, Господи,
Локоны и ежики –

Жизнь полураздетая,
Правда недобитая,
Песня недопетая,
Чаща недопитая.

Поэтому и роскошные, шикарные меха, и ослепительные драгоценности меня отталкивают. Это все не мое. Мне нравится то, что попроще.

– Чем же вызвана метаморфоза, произошедшая с вами в передаче «Монолог длиной в жизнь» из цикла «Осенние портреты» на телеканале «Культура»?

– Пожалуй, за всю свою жизнь мне захотелось принарядиться всего раз пять. Это были очень кратковременные периоды – вспышки. Вот и минувшей весной мне захотелось сделать прическу, придеться, я похудела – постройнела. Устроила чалму. И даже закончила ее сбоку бантом.

– Ваше представление о стильной женщине?

– Мне приятно смотреть на красивых, со вкусом одетых девушек и дам. Однако назвать какое-то конкретное имя затрудняюсь. Как-то мы с Семеном Израилевичем смотрели один американский телевизионный сериал – «Династию». Там играла главную роль изумительная актриса. По ходу действия постоянно менялись костюмы героев, интерьеры. И вот Семен Израилевич спрашивает меня: «Ты замечаешь, как одета эта актриса, какая обстановка в доме?» – «Абсолютно нет. Слежу только за сюжетом. Ах нет! Пожалуй, еще, что меня привлекает в роскошной жизни, – слуги. Не надо ни пылесосить, ни стирать, ни обед варить – все чисто, прибрано, подано». Привлекает, потому что я остро нуждаюсь в подмоге, или, как теперь говорят, услуге. Зачастую на вопрос, как вы, два поэта, справляетесь с бытом, отвечаю так: «Я немножечко лучше Семена Израилевича. Вот, например, электророзетка и вилка. Он умеет лишь попасть вилкой в розетку. А я могу и в удлинитель».

– Как вы предпочитаете проводить свободные минуты?

– Их у меня нет. Когда-то играла в шахматы. Сейчас не с кем. В основном это книги. Или музыка. Реже кинофильмы. А сравнительно недавно у меня появилось новое невероятное увлечение – компьютер. Мне подарили его ко дню рождения. Никогда в жизни я ни с какой техникой, как нетрудно догадаться, не ладила. А тут

впервые вдруг быстро освоила. Переписываю в него стихи, пишу на нем письма, рассказы, воспоминания...

Подготовила книгу воспоминаний о Тарковском. Отдала в издательство, а потом сама забрала. Пусть ждет своего часа.

– Вам, конечно же, известна жесткая метафора Тарковского – «лопата времени», что его «швырнула на гончарный круг». Не меньшей художественной силы и у вас – «кухня времени» в одноименном стихотворении. И вообще, слово «время» – и реальное, и условное – среди сквозных в ваших стихотворениях на протяжении многих лет. Строки одного из них прозвучали в самом начале нашей беседы. Перечитаем другие.

1970-й:

Я слышу, как падает время на дно,
И вижу круги на воде,
А мне представляется только одно:
Будущее в беде.

1971-й:

Я и время – мы так похожи!
Мы похожи, как близнецы,
Разноглазы и тонкокожи...
Ну, скажи, не одно и то же
Конвоиры и беглецы? <...>

Я – в бегах, а оно – в погоне,
У обоих мир двусторонний –
Там наш пепел, а здесь пожар <...>

Преимущества никакого
Ни ему не дано, ни мне,
Лишены очага и кровя,
Мы бежим, как за словом слово
В обезумевшей тишине.

1981-й:

В душном времени, в болотном пламени
Имя Господа мы долго жгли
И сгорали сами. И, как знаменье,
Ливни милосердные сошли.

1991-й:

...наше время живет, дыша
Не воздухом, а огнем.

1994-й:

Продолжается время распада,
Еле теплятся совесть и честь.

1995-й:

Глупо не знать о прошлом
И поспешать в грядущее <...>

Хитрое, простодушное
Время всегда разбойно,
Коли житье побирушное.

1997-й:

И вырваться тщусь я из времени
Прошедшего и – вообще.

– К сожалению, в этом смысле я не оригинальна. Видимо, время – та философская категория, которая непременно присутствует в творчестве каждого.

– Снова ваши строки:

Все связано,
И потому на всех лежит одна вина.
Все названо,
И потому не называю имена.
Все сказано,
И потому молчу в такие времена.

А вот более поздние:

И трепетнее ветра
Трепещущая тема:

Утрачиваем души,
Одушевляя вещи...
И чем мой голос глуше,
Тем осязанье резче.

Или:

Как ни прельстительно затюканной душе
Ошибки опыта проталкивать в печать,
Хочу во что бы то ни стало помолчать.

Что стоит за вашим молчанием?

– Уже не остается сил спорить, доказывать, что дважды два – четыре, убеждать, даже говорить. Однако это молчание – активное. Означает оно для меня следующее: не участвовать в политизированной общественной жизни. Тем более в ее тусовках. Довольствоваться малым и одиночеством.

Еще года четыре назад я утверждала: «Надо укрепить дух созидательным терпением, работать». Да, работать надо было. Потому что все, что могли, мы просвистели в спорах и разговорах. Мы слишком разговорчивы. Тогда как «в такие времена» совсем не лишне помолчать. А то – сплошной скулеж.

Правда, в книжке стихов «Ветер покоя», которая отличается от предыдущих социальной направленностью, – но именно это мне самой как раз во мне и не нравится, я попыталась что-

то сказать «в такие времена». Считаю эту последнюю книжку своей неудачей.

– Позвольте еще несколько цитат из ваших стихов 1990-х годов, в которых лирическая героиня – как, кстати, и в той же поэме «Круг», где немало личных, биографических реалий, – все-таки неразрывно с вами связана:

Избалована бедой,
Счастьем не замечена...

Я, как стекло, закалена,
Я – и песок, я – и волна,
И приспособлена к бездомью и туману.

И в многолюдстве одиноко
Я шла извиистой стезей.
Верхове жизни – это око
С его младенческой слезой.
Как далека я от верховья –
Стремнина времени быстра...

Судьба моя, спасибо и за то,
Что я была вольна в неволе быта, –
Не выиграна властью в лото
И чернью не просеяна сквозь сито.

Что помогло выдержать «нерукотворные удары», «охулки и ухмылки» «и плевки», «всегда оставаться собой» – сохранить лицо?

– Прежде чем «сохранить лицо», его нужно иметь. Не знаю, есть ли оно у меня.

– Вы – прощу прощения – не лукавите?

– Нет-нет. Правда, не знаю... Может, помогает веселость нрава. Я могу смеяться в самые трудные времена.

- Подтверждением - ваше стихотворение 1978 года из книги «Дожди и зеркала» («УМСА-Press», 1983):

Судьба пытала, брила наголо,
И ты жила сверх всяких сил, –
Лицо смеялось, песня плакала,
Народ руками разводил.

С 1990-х годов слово «смех» и его производные встречаются у вас все чаще. Как пример – два стихотворения 1993 года «В несчастных я себя не числю...» и «Бабочка приколота к вечности иглой...». Или – «Чего я хочу, простодыра, балда, пустомеля?...» 1997-го:

Пытаюсь я золото выискать в человеке,
И смех я пытаюсь извлечь из своей беды.

Себя осмеять – это лучший, наверное, способ
В последнем забое столетья бесслезноу быть.

Того же времени – «Ночи Кабирии»:

...Пусть плачут глаза и смеется рот –
За маску сойдет гуттаперчевая броня.

Кстати, строка из «Ночей...» дала название, что весьма показательно, и подборке ваших стихов в февральском номере журнала «Дружба народов» – «Судьба смеется глазами и плачет ртом...». Быть может, смех иронии, самоиронии самый горестный...

– Да, это есть в моих стихах. Смею думать, что мы все могли бы хором посмеяться над самими собой, что-то высмеять в самих себе. А потом взяться за дело, жить дальше. Но мы всегда ищем кого-то другого виновного в своей неудачливой судьбе – соседа, чужеземца и так далее. Возможно, это одна из черт нашего характера...

И под легкостью пера крылатого,
И под тяжестью кариатид
Виноватый ищет виноватого,
Невиновный сам себя винит.

Смех действительно помогает. Хотя он гораздо тяжелее слез, которые, в общем, не требуют больших внутренних усилий. В одной моей неопубликованной поэме 1974 года есть такие строки:

Мой плач пересолил
Событья и могилы.
На плач не тратят сил –
На смех уходят силы.

По сути, об этом и в написанных в 1995-м:

Я сожгла свои слезы на дне глазном,
На сетчатке остался пепел,
Чтобы гость незванный в доме моем
Их не видел, а друг их не пил.

Я могла бы слезами землю залить
Перед тем, как в небо отчалить.
Но к чему мне недруга веселить
И к чему мне друга печалить.

Несмотря на мою веселую устную речь во время нашей беседы, мои стихи, увы, довольно сумрачны:

Мне б заплакать, да глаза мои засушливы.
И прошу я у заступника Николы:
Защити моих детей, они ослушники,
Мои дети – это голые глаголы.

Закаляла их в водице разноградусной,
Упреждала: на дворе не та минута,

Сколько можно жечь сердца в стране безрадостной?
Но ослушались и обожглися люто.

– Однако интонация во второй части стихотворения «Сожженные слезы» все-таки иная, чем в первой, которую вы привели до этого:

Все ж надежду мою не выветрить,
Да и веры моей не вытравить
Солью лжи, сулемой событий.

Ваш голос звучит почти как вызов здесь:

Вся смерть, прошедшая сквозь меня,
Всем чудом жизни во мне болит...

И сейчас повторили бы эти слова, не так ли?

Проклятая жизнь, – все равно ты достойна
Молитвы во благо и благостных слез.

– Сама жизнь, которую подарил нам Господь Бог, такая большая ценность, что не дорожить ей невозможно. Когда тебе уже семьдесят лет, когда за спиной так много прожито, пережито, передумано, осмеяно в самой себе, это воспринимается особенно остро и отчетливо.

На днях ко мне заходил мастер – надо было что-то починить в доме. Закончил работу. Перед тем как уйти, сказал: «Желаю вам хорошей жизни!» – «Ну что вы, голубчик! Зачем так много? Вы мне просто *жизни* пожелайте...»

